

сочетание этих слов не русское, так говорят иностранцы, хорошо изучившие язык". ...

27 августа. Опять мы от всех отъединились и гуляли вдвоем. Максимилиан рассказывал мне о Рудольфе Штейнере: "Он всегда читал лекции и делал свои сообщения как человек светский, перебивая их шутками, ибо боялся впасть в соблазн учительства. Он беспрерывно совершенствовался, так что лицо его в течение его жизни становилось все более и более значительным. Иоаннов Дом должен был как бы завершить дело его жизни, так что то, что он сгорел, было для него роковым, во всяком случае, он сам считал для себя это смертельным. Теперешний новый дом построен в другом месте и по совершенно иным планам. Когда я жил в том доме и мне приходилось дежурить, то я всякий раз предотвращал какую-нибудь опасность со стороны огня, так что друзья спрашивали себя: оттого ли огонь, что я дежурю, или, наоборот, я от огня предостерегаю? Впрочем, у меня с огнем совершенно особенная связь. Так, Новый год, 1914-й, я был один в Коктебеле, ко мне приехала Марина Цветаева, я затопил унтермарковскую печку, плита раскалилась, и начался пожар: так начался для меня 1914 год, год Европейской войны. А в 1905 году прямо чудо случилось. Я стоял в одном доме около гардин - и они зажглись в моих руках<sup>919</sup>. Я объявил, что у меня спички были в руках, ибо я стыдился чуда, я не хочу, я бегу от чуда, я конфжусь, но это так". - "Как человек, которому слишком в карты везет, смущается, не сочтут ли его шулером", - сравнил я, и он согласился.

### **Семен Липкин У ВОЛОШИНА В ТРИДЦАТОМ**

Я сказал Г. А. Шенгели, что собираюсь на каникулы поехать в родную Одессу. Он тоже решил отправиться - в Крым, в родную Керчь, но по дороге захватить в Коктебель к Волошину, и предложил мне сопровождать его. Я с радостью согласился.

Поезд прибывал в Феодосию на рассвете. Мы наняли таратайку. Шенгели удивил меня, заговорив с возницей-татаринном на его языке. Потом он мне объяснил, что по-татарски знает слов сто, не больше. Он хорошо владел английским, французским, немецким, латынью.

Мы въезжали на таратайке в еще холодную степь, удаляясь от моря. В воздухе, однако, чувствовалось приближение жары. Чабрец, мята, полынь, виноградники - как под моей Одессой, но там земля была ровней. Но вот мы снова повернули к морю, вдали засинела бухта, вот и селенье - болгарское, как сообщил мне Шенгели. Ехавшая с нами жена Шенгели, поэтесса Нина Леонтьевна Манухина, сказала: "Неужели мы сейчас увидим великого Макса? Сколько раз бывала здесь и всегда замираю от счастья".

Когда мы приблизились к похожему на корабль дому Волошина, Георгий Аркадьевич мне сказал: "Все еще спят, но мы здесь свои люди, а вы погуляйте часок, если хотите, искупайтесь в море, куда я вас устрою.купаются здесь в костюмах Адама и Евы, мужчины - справа, женщины - левее".

Я двинулся вправо У самого моря стояла спиной ко мне голая, крупная женщина, видимо, не очень молодая, судя по жировым отложениям. Шенгели ошибся? Я пошел влево. Там, хохоча, плескались две девушки. Делать нечего, снова пустился вправо. Голая женщина одевалась, щурясь на солнце. Я узнал по портретам: то был Алексей Толстой. Я, не будучи знаком, поздоровался с ним по-деревенски. Он сказал: "Холод смертный. Бодрит, мерзавец". Действительно, мое Черное море здесь оказалось холодным. Но Алексей Толстой был прав: холод бодрит.

Вернувшись домой, я увидел, что около одноэтажного флигелька, посредине террасы, одиноко стоит мой чемодан. Из флигелька вышла приземистая женщина, смуглая и усатая, она назвала мне свое имя и отчество, сказала: "Пойдемте, я отведу вас в вашу комнату". Мы,

---

<sup>919</sup> 595 Об отношении Волошина с огнем и о пожаре в коктебельском доме при встрече 1914 года см. в воспоминаниях М. Цветаевой (с. 238, 249-250) и в 39-м и 51-м примечаниях к ним

в другом флигеле, поднялись по крутой лестнице, вступили в комнатенку. Она оказалась мансардой со скошенной крышей, так что в одном ее углу не мог бы встать в рост и десятилетний мальчик, тем более я, двадцатилетний, хотя и невысокий. "Здесь жил Гумилев", - значительно сказала усатая. Не знаю, как он здесь жил. Крыша за день так раскалялась, что в комнате невозможно было дышать.

Завтрак. Свежее, цвета топленого молока, масло, горячий домашний хлеб, чай. За столом собралось человек пятнадцать. Кроме знакомых мне супругов Тарловских<sup>920</sup> и Шенгели - Алексей Толстой, профессор Десницкий из Ленинграда, литературовед, тоже ленинградец, Мануйлов<sup>921</sup>, поэтесса Звягинцева, с которой на всю жизнь подружился, переводчица Рыкова, две женщины, имена которых забыл, - высокие, плоскогрудые, седые, стриженные по-мужски, как потом оказалось, отличные пловчихи. Во главе стола сидел Волошин, напротив - его жена Марья Степановна, маленькая, остроглазая. Меня представили Волошину. Он показался мне похожим на памятник первопечатнику Федорову. Шенгели сообщал последние московские литературные новости. Так же, как и сейчас, в наше время, интеллигентные группы писателей негодуют и смеются, узнавая о жестоких или низменных, корыстных поступках некоторых своих руководителей, негодовали и смеялись мы, слушая о рапповских зловещих невеждах. Волошин относился ко всему добродушней, чем его гости, олимпийски спокойно. Я уже тогда понимал, что он немного актер, но его "правда, так надо играть".

Вечером Алексей Толстой читал свой рассказ "День Петра". На чтение приглашены были все гости. Пили отузское вино, восхищались рассказом. Волошин сказал: "Алихан, ты удивительно талантлив, какой огромный писатель вышел бы из тебя, если бы ты был образован" Я с горечью подумал: "Если уж Алексей Толстой мало образован, то что сказать о таких, как я?"

У Волошина был необычный голос: высокий, дребезжащий, удивительный при его мощной фигуре, и вдруг этот голос сменялся низким, густым. Все его называли "Макс". Шенгели и Алексей Толстой были с ним на "ты".

Против дома, к тополю, рядом с рукомойником, был прибит ящик, вроде почтового, самодельный. В него каждый опускал деньги - кто сколько может. На этих деньгах держалось хозяйство, и кое-что оставалось на зиму. Не помню, кто мне сказал, что Алексей Толстой, уезжая, каждый раз оставлял Марье Степановне солидную сумму. Гонорара у Волошина не было, его не печатали.

Из того волошинского, что теперь известно, я знал только сборник "Иверни" (он и сейчас стоит у меня на полке), ходившее по рукам великолепное стихотворение "Дом поэта", да еще я прочел в каком-то альманахе (забыл в каком) небольшую поэму "Россия"<sup>922</sup> - произведение огромной силы. Навсегда запомнились строки:

А печи в те поры  
Топились часто, истово и жарко  
У цесаревен и императриц.

И еще одна важная строка: "Великий Петр был первый большевик". Цитирую, как запомнил.

---

<sup>920</sup> Поэт Марк Тарловский и его жена.

<sup>921</sup> 596 Литературовед Виктор Андроникович Мануйлов (1903- 1987) был в Коктебеле при жизни Волошина лишь один раз, в июле 1927 года. Он оставил об этом воспоминания.

<sup>922</sup> 597 Поэма Волошина "Россия" была напечатана (с купюрами) в альманахе "Недра" (кн. 6. М., 1925) и в "Книге для чтения по новейшей русской литературе", составленной В. Львовым-Рогачевским (Л., 1925).

Шенгели попросил Волошина послушать мои стихи. Слушал он доброжелательно, но никак их не оценил. Я - не очень точно - помню его слова:

- В молодости многие пишут стихи, иногда неплохо. Но поэтом бывает только личность. Личность создается Богом. Та глина, из которой Бог лепит личность поэта, состоит из страдания, счастья, веры и мастерства, а мастерство есть знание, навыки и еще что-то, а это "что-то" называют по-разному, натуры примитивные, но чистые - волхвованием, более тонкие тайной или музыкой. Года два тому назад нас навестил Андрей Белый, изрек: "Мной установлен закон построения пушкинского четырехстопного ямба, я заключил закон в математическую формулу". - "Боренька, - отвечаю я, - вот и напиши, как Пушкин".

Был день, когда Волошин оказал мне честь - позвал с собой на прогулку, повел меня к тому месту, где теперь его могила. Хорошо знавшие его люди так описывают его убранство: длинные волосы, обтянутые античным ремешком, длинная тога, сандалии на босу ногу. В тот день был и ремешок, и сандалии, не было тоги: на нем была рубаха до колен, подпоясанная шнурком. Дорога была нелегкая, жаркая, ветреная, ветер высушил стебли трав и колючки по бокам тропы, то падающей, то поднимающейся. Волошин, несмотря на свою тучность, ступал легко. При этом он безудержно говорил, главным образом, о греческом и итальянском прошлом этих одичавших мест. Если Брюсов, охотно перелагая в стихи античные мифы, ничего оригинального к ним не добавлял, то Волошин даже в беседах с юнцом связывал воедино Элладу и Среднюю Азию, север Европы и наше Причерноморье. Между прочим от него я впервые узнал, что Чуфут-Кале это Джебугуд-Кале - "Еврейская крепость". Он рассказал мне историю возникновения караимской ереси. Последователь французских символистов, заметивший, что "в дождь Париж расцветает, словно серая роза", он любил и хорошо знал Восток, разбирался в сложном этногенезе крымских татар, которых ценил за их честность, трудолюбие, сказал о них: "Древние виноградари и тайноведы подземных вод". Я представляю себе его неистовую боль, если бы он дожился до выселения татар из Крыма.

По вечерам только избранные допускались в "кают-компанию" - в кабинет Волошина, а мы, остальные, гуляли вдоль пустынного моря до дачи Юнге и обратно, некоторые купались в море под звездами. Коктебель тогда не был модным курортом, о нем мало знали, и если не считать коренных жителей болгарской деревни, то его обитателями были только семья Волошина и ее летние гости, а также приезжавшие на дачу Юнге. Однажды пришел с этой дачи В. В. Вересаев, маленький, в белой бухгалтерской кепке, в парусиновой толстовке. Чувствовалось по выражению его умных усталых глаз, что ему не нравятся люди, гостившие у Волошина. Я тогда подумал, что мало общего у автора "Записок врача", повестей о том, как народничество уступало свои позиции социал-демократическому марксизму, - с Волошиным, эстетом, парижанином, "христианским коммунистом", как он сам себя называл. Но, видимо, Вересаев скучал в малолюдном "безрадостном" Коктебеле, вот и решил навестить соседа. Впрочем, может быть, их сближала любовь к античности, знание древнегреческого, - ведь Вересаев переводил "Илиаду" и послегомеровских лириков.

Там, где теперь лодочная станция, стояла будка, ее владелец - не то грек, не то караим - жарил по вечерам шашлыки, варил кофе, торговал невероятно дешевым вином<sup>923</sup>

И вот в один из вечеров Лада Руст - жена Марка Тарловского - сказала мне, что будут выбирать короля и принца поэзии. Еще она мне сказала, что королем принято избирать Волошина. Как это получалось, я до сих пор не знаю. Число претендентов было ограничено: Волошин, Шенгели, Тарловский и, кажется, Звягинцева. Билетики опускались в "амфору", как объяснил руководивший выборами профессор Десницкий. Я опустил два билетики в короли выдвигал Волошина, в принцы - Шенгели. Результаты голосования: король - Волошин, принц - Тарловский.

Шенгели не сумел и не хотел скрыть обиду, ушел с Ниной Леонтьевной. Никто ему не

---

<sup>923</sup> 598 Имеется в виду кафе "Бубны" А. Г. Синопли.

посочувствовал, пили отузское вино. Король поэзии читал стихи, то повышая голос до женского, то понижая и громокипя, как Зевс:

И скуден, и неукрашен  
Мой древний град  
В венце гонуэзских башен,  
В тени аркад...<sup>924</sup>  
А дальше:  
Суда бороздили воды  
И борт (пауза) о борт  
Заржавленные пароходы (женски-высоко)  
Врывались в порт...  
И еще строфа, кажется, такая:  
Выламывали ворота  
И (пауза) у ворот  
Расстреливали кого-то  
В проклятый год<sup>925</sup>.

...Через два года после незабвенного Коктебеля я пришел на Малый Ржевский к Шенгели. Он, всегда смуглый, был темен, черен. Нина Леонтьевна плакала. "Умер Волошин, ушел Макс", - вздрагивающим голосом сказал Шенгели.

### **Евгений Архиппов КОКТЕБЕЛЬСКИЙ ДНЕВНИК 1931 ГОД**

8 июня

...Автомобиль неожиданно остановился около одного домика, оказавшегося почтовой станцией. И вот - наш путь от станции до дома Максимилиана Александровича. Утром в легчайшем воздухе, вблизи громады Карадага, навстречу светящемуся голубому заливу идти со спокойной радостью увидеть и приветствовать Поэта и Судию, "остатнего меж волхвами"...

Мы почти дошли до берега моря, до ограды айлантов и тамарисков, как услышали голос Максимилиана Александровича: "Это Вы, Евгений Яковлевич?" Вещи были брошены на земле, я моментально очутился на втором этаже, чтобы через мгновение прикоснуться к нежным губам, окруженным буйной Зевсовой растительностью.

Пока Мария Степановна была занята приготовлением нам комнаты в левом пристроенном крыле здания, мы с Максимилианом Александровичем сидели в столовой, за столом, прекрасно запечатленным в стихотворении Вс. Рождественского "Фаянсовых небес

---

<sup>924</sup> 599 С. Липкин приводит строфы из стихотворения Волошина "Молитва о Городе (Феодосия весной 1918 года)".

<sup>925</sup> 600 Последняя из процитированных здесь строф из стихотворения "Молитва о Городе" отличается существенными разночтениями от текста, опубликованного Волошиным в его книге "Демоны глухонемые":

Выламывали ворота,  
Вели сквозь строй,  
Расстреливали кого-то  
Перед зарей...